

ОГОВОРКА

Есть такая, немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, — не совестно ли?

И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскребать вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.

Одно — наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело, — мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится — не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.

Обстоятельство второе — что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, — предвидеть точно нельзя.

А тут как раз между двумя глыбами¹, — одну откатил, перед второй робею, — выдался у меня маленький передых.

И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.

Апрель 1967

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво — когда писатели.

У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того — разломом семейной жизни, того — разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.

Но всё-таки: не о том печься — мир бы тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, — этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно — так, чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томились в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, — но тут Шаховского *посадили* (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за... их *реакционности*! Так Чаадаев установил рекорд — уже 110 лет после смерти — замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!

А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше *в стол*, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы

и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.

Но, шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может *пройти*. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не dokonечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь оттого, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под горами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди — напечататься.

И — изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена — те поразит, и кому невидимым струением посылается — те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть — многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрическою системою, а на пересылках наламыывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, — уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки — проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже,

что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья — сами по лагерям. Мама — умерла. Жена — не дождалась, вышла за другого.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по несколько в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского, у неё горлышко широкое. Бутылку я закопал на своём огороде — и под Новый, 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако я не умер. (При моей безнадёжно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.) Тою весной в Кок-Тереке, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2—3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать. Путь к этому открыл мне Николай Иванович Зубов (см. [Пятое Дополнение, очерк 1](#)): как хранить редакции рабочие и окончательную. Затем я и сам стал осваивать новое ремесло, сам учился делать *заначки*, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания, ещё надо было теперь учиться ремеслу — прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы

и под солнцем, почти не уходящим в облака, — ловить короткую облачность). А микрофильмы потом — вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: Соединённые Штаты Америки, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого более на Западе не знал, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.

Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берётся у людей? Кажется, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях — куда страшнее, чем оно есть.

И в подполье если с бухты-барахты вступать, при красном фонаре и чёрных масках, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно. А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройки внешней жизни, — тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там — условная фраза в письме или при явке, там — кличка, там — цепочка из нескольких человек, — просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!

Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.

Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную, ничтожно-покорную жизнь — но к подпольно-литературной изнанке её я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры — все эти вопросы решались не дыханием непринуждённым писателя, которому только бы достроить произведение, наглядеться и отойти, — а ещё и вечно напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет храниться, в чём будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растёт и растёт объём написанного и перепечатанного.

Важней всего и был объём вещи, — не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут

выручали меня ещё не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; полное уничтожение (всегда и только — сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке (не в один интервал, два щелчка, но после каждой строчки я выключал сцепление и ещё сближал их от руки), без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки — сожжение и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах. (До слёз было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжении гораздо хлопотливей.)

Усвоением уроков Зубова я очень гордился. В Рязани я придумал хранение в проигрывателе: внутри нашёл полость, а сам он так тяжёл, что на вес не обнаружишь добавки. И халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши.

Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но бережёного Бог бережёт. Статистически почти невероятно было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрянуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков! (А если бы нагрянули, то — смерть, ничто меньшее не ждало меня при тогдашней безвестности и незащищённости, — как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга», 96 глав.) Однако это всё — пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».

Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости — потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничьего внимательного взгляда, — жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов,

но всегда выказывать свою чуждость литературе. (Литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину ещё по следственному делу — и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать.) Наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться — никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любой глупостью.

Понурая свинка глубок корень роет.

Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же *номера* на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии — быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудости свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне дико было слушать, как объясняли по радио обезпеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня, и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я ещё в лагере научился складывать стихи на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешало мне и радио, и разговоры, — но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на наше рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия.

Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания — пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после

удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её безчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки — раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, — наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо *не то* у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они — и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, — все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась *соцреализмом*. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.

И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких — замкнутых, упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда, — составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора — и все мы разом выступим из глуби моря, как Тридцать Три богатыря, — и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно.

И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрём. Я всё ещё не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература — объяснить потерянными и

смятенным умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется.

Но вот прошли года — и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трём своим убеждёностям.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина», и «Тёркина на том свете», и крутолучинских мужиков Залыгина? Как не признать живыми имена Шукшина, Можая, Тендрякова, Белова, Астафьева да и Солоухина? И Максимов. И Владимов. И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё — смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, травивший Булгакова, отдавший на смерть Мандельштама, Павла Васильева, Пильняка, Артёма Весёлого, исторгнувший Ахматову и Пастернака, этот прожжённый союз представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захлапившими и осквернившими храм, чьи столы надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких — и счастливых таких! — оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев — втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они ещё упорнее и хитрее нас? — и даже сегодня пишут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше — ведь не поверили ж бы?)

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, — и я смолчал, продолжал писать.

Ошибся я и в третьем своём убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни, начался наш первый выход из бездны

тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось — потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждую петлёю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотно (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непроимчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок.

Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?

* * *

Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей — и при полной их безвыходности, я стал ощущать переполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подпольи мне стало не хватать воздуха.

Сильное преимущество подпольного писателя — в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изошрённых, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было меньше десятка, главным образом бывших эков, да и то никому из них не удалось прочесть все вещи, — ведь живём в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гостения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надёжности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. Итак, жёсткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве, — очень нужна, каждому писателю нужна,

хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» — хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распоясываешься, начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного вскрика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верногокрепления не нашёл.

Позже, когда я из подполья высунулся и *облегчал* свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам ещё никак на первых порах не принять, я с удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиляется в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал: вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.

Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве — правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссёров как почти единственных творцов спектакля), я стал иногда и жалеть, что писал пьесы².

В 1960 году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, — и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевелиться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея.

Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, — здесь

он ошибся даже и для медленных эпох, а уж для быстрой нашей — тем более. Он прав, что жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше портит перо многолетняя невозможность иметь читателей — и строгих, и враждебных, и восхищённых, невозможность никак повлиять пером на окружающую жизнь, на растущую молодёжь. Такая немота даёт чистоту, но и разгружает от ответственности. Суждение Толстого опрометчиво.

Современная печатная литература, до той поры только смешившая меня, тут уже стала раздражать. Появились как раз мемуары Эренбурга и Паустовского — и я послал в редакции резкую критику, конечно никем не принятую, потому что моего имени никто не знал. По форме статья моя получилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле это был упрёк, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пустячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины, — а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?

В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабея, стал я изобретать: не могу ли я всё-таки что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать — но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать! Так я задумал писать «Свечу на ветру» — пьесу на современном, но безнациональном материале: о всяком благополучном обществе нашего десятилетия, будь оно западное или восточное.

Эта пьеса — самое неудачное из всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай её 4—5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и всё это — сочинённость. Много я на неё потратил труда, думал — кончил, а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре, — почему же не удалось? Неужели потому лишь, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки только, не только для «открытости», но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это ещё верней, чем о нас), — а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой, безъязыкой манере — и получается,

почему ж у меня?.. Значит, нельзя в абстракции сделать полтора шага, а всё остальное писать конкретно.

Другую попытку я сделал в 1961, но совсем неосознанно. Я не знал — для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал *облегчённо*, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобождённое состояние! — не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе — счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.

Я уставал уже от конспирации, она задавала мне задачи головоломнее, чем само писательство. Но никакого облегчения ни с какой стороны не предвиделось, и западное радио, которое я слушал всегда и сквозь глушение, ничего не знало о глубинных геологических сдвигах и трещинах, которые скоро должны были отдалиться ударом на поверхность. Ничего никто не знал, ничего я радостного не ожидал, и взялся за новую отделку и перепечатку «Круга». После безцветного XXI съезда, втуне и безмолвие оставившего все славные начинания XX, никак было не предвидеть ту внезапную залиvistую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущёв XXII съезду! И объяснить её мы, неосведомлённые провинциалы, никак не могли!

Однако она произошла, и не тайная, как на XX съезде, а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи — и стены моего затаённого мира заколебались, как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширились и меня колебали и разрывали: да не пришёл ли долгожданный страшный радостный момент — тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?

Я не смел ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!

А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая у него была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а «мы не используем». Такая

нотка, что просто нет у «Нового мира» произведений посмелее и поострее, а то бы он мог.

Твардовского времён «Муравии» я нисколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи. И примечательных отдельных стихотворений я у него не знал, не обнаружил, просматривая в ссылке двухтомник 1954 года. Но со времён фронта я отметил «Василия Тёркина» как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских «Окопов» не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбёжку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую — по редкому личному чувству меры, а может быть, и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! — оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: «Войну и мир» и «Тёркина».

Но потом лагерный, и ссыльный, и преподавательский, и подпольный недосуг не дали мне прочесть ни «Дома у дороги», ни другого чего. (Только «Тёркина на том свете» читал я в списках ещё в 56-м году. Самиздату всегда предпочтение и внимание.) Я не знал даже, что публиковалась в «Правде» глава «За далью даль», что поэма в том году получила ленинскую премию. «За далью даль» я прочёл гораздо позже, а главу «Так это было» — когда попалась мне в «Новом мире».

По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудоночь тётки Дарьи, «ура! он снова будет прав...» и даже «Москва высотная вставала, как некий странный павильон». И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?

Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и «грозного отца», и «правоту» его обок с неправотою, и ему

мы «обязаны победой», и родство Сталина с бранной сталью,

И в нашей книге золотой...
Ни строчки, даже запятой...
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, всё, что с нами было, —
Было!

Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей — не заслонил чести? Уж слишком безконтурно: «что было — то было», «тут ни убавить, ни прибавить». Так и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюрнберга не надо? — что было, то было... ? Философия беспомощная, не вытягивающая на суждение об истории³. Поэт трогал ногой рядом с мощёной тропкой, но страшно было ему сходить.

И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! — то пойдёт или упрётся?

И о «Новом мире» я не имел отличительного суждения: по тому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собою усматривали советские журналы, были для меня ничтожны, а тем более для дальней исторической точки зрения — спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями, — и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять.

Но — что-нибудь же значил гул подземных пластов, прорвавшийся на XXII съезд?.. Я — решился. Вот тут и сгодился неизвестно для какой цели и каким внушением «облегчённый» «Щ-854». Я решился подать его в «Новый мир». (Не случись это — случилось бы другое, и худшее: я послал бы фотоплёнку с лагерными моими трудами — за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, — не могло бы произойти и сотой доли того влияния. Но уже целый год тошнота моего тупикового положения нудила меня к какому-то прорыву.)

Сам я в «Новый мир» не пошёл: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать машинопись. Хотя шесть авторских листов, но это было

совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.

Я отдал — и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.

Это было начало ноября 1961. (В случайной записи от того месяца: «Ощущение высокого взлёта на качелях: страшно, дух захватывает — и хорошо».) Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний — ещё можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского «По ком звонит колокол», полученного на три дня. До той поры я и Хемингуэя ни одной строчки не читал.)

Гостиница оказалась в Останкине, совсем рядом с той семинарией-шарашкой, где происходит действие моего «Круга» и где, уже с первым лагерным опытом, я по-серьёзному начал писать в 1948. Перемежая с Хемингуэем, я выходил побродить мимо забора своей шарашки. Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы.

В десятке метров брёл я теперь от того архиерейского домика-ковчега и тех лип, вечных лип, под которыми три года вышагивал-вышагивал-вышагивал утром, днём и вечером, мечтая о далёкой светлой свободе — в иные, светлые, годы и в посветлевшей стране.

А теперь, в пасмурный осклизлый день, по мокренькой ноябрьской слякоти, я шёл по другую сторону забора, по тропинке, где только смена караула от вышки к вышке пробиралась раньше, и думал: что ж я наделал? Ведь я — опять в их руках.

Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..

ОБНАРУЖИВАЯСЬ

А потом целый месяц в Рязани я тягостно жил: где-то невидимо двигалась теперь моя судьба, и я всё больше уверялся, что — к худшему. Исконному зэку, сыну ГУЛАГа, почти недоступно верить в лучшее. И за лагерные годы отвыкши от всякого собственного решения (почти всегда во всём крупном ты отдан течению рока), мы даже привыкаем, что безопаснее ничего не решать, не предпринимать: живёшь — и живи.

А я вот нарушил этот лагерный закон, и теперь было страшно. Да шла ж работа и над новой редакцией «Круга»; все тексты, и лагерных всех вещей, были у меня в квартире, и тем более губительным легкомыслием казалась эта затея с «Новым миром».

Как бы ни гремел XXII съезд, какой бы памятник ни сулились поставить погибшим зэкам (впрочем — только коммунистам, впрочем — и по сей день не поставили), а поверить, что вот уже пришло время правду говорить — ну в это же поверить нельзя, ну слишком отучены головы наши, сердца и языки! Мы уже смирены, что и никогда не скажем правды и никогда не услышим.

Однако 9 декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищён статьёй» («статьёй» договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло — так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Ещё через день (в день моего рождения как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского — вызов в редакцию. А ещё на завтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину — отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.

Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице «Нового мира» — в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского.

Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долго хранимая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая,

даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю, — Анну Самойловну не предупредили, оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А. С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз — видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги — Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А. С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглотнёт, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости, — и в первые руки угодить — Твардовскому. Но! — не отвратился бы он от рукописи из-за её убогого, слепого, сжатого вида. Попросила А. С. перепечатать за счёт редакции. Ушло на это время. Ещё ушло — на ожидание, пока Твардовский вернётся из очередного приступа своей слабости (несчастных запоев, а может быть, спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была — как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко её принимал и несправедливо недолго любил, то ли не оценивал её художественного вкуса, трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала. Хорошо, однако, зная суть и слабые места всех своих начальников, она у первого из них, зав. отделом прозы Е. Н. Герасимова, в прошлом достаточно трянутого судьбой, спросила: «Есть вещь о лагерях. Будешь читать?» Герасимов отмахнулся: «Не морочь мне голову этими лагерями». Тот же вопрос — второму заместителю Главного, А. Кондратовичу — маленькому, как бы с ушами настороженными, дёрганому и запуганному цензурой. Ответил Кондратович, что о лагерях он *всё* уже знает, ничего ему не надо. К тому ж печатать всё равно нельзя. Тогда А. Берзер положила рукопись перед ответственным секретарём Б. Заксом и спросила коварно так: «Посмотрите, вам хочется это читать?» Нельзя было спросить ловчей. Уже много лет Б. Г. Заксу, сухому невесёлому джентльмену, никак не хотелось от художественной литературы, чтоб она испортила ему конец жизни, коктейбельские солнечные октябрь и лучшие зимние московские концерты. Он прочёл первый абзац моего рассказа, положил молча и ушёл. (Да ведь печатать же нельзя.)

Теперь А. Берзер имела полное право обратиться и к Твардовскому, — ведь все отказались! Она дождалась случая, правда в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал — эту давайте⁴. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!

Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение — неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это — глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного — Дементьев, Закс и Кондратович.

Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее.

Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще, говорят, никаких рукописей второй раз не читает, даже и после

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.